

Дружинин А. В. «Греческие стихотворения» Н. Щербины. Одесса, 1850 // Дружинин А. В. Прекрасное и вечное. – М., 1988. – С. 30-51.

Если верить газетам, которые за двадцать лет тому назад лгали совершенно так же, как лгут и теперь,— в Греции, около 1830 года, происходило достопримечательное торжество. Двое богатых негоциантов, имевших обширные владения неподалеку от Афин, не жалея огромных сумм и трудов, решились в XIX столетии воскресить один из дней древней Греции. Оба они получили блестящее образование в одном из германских или французских университетов, оба носили имена, прославленные в войне против мусульман, оба в совершенстве знали старую словесность своей родины и пламенно сочувствовали древнему искусству. В их землях находилось несколько исторических развалин, из которых одна, именно храм Зевса Олимпийского, сохранилась более других. Храм этот был наскоро реставрирован искусным архитектором, эллином в душе, украшен изваяниями и цветами. По приглашению обоих поэтов (без сомнения, эти люди были поэтами в душе), съехалась к ним компания археологов, художников и знатоков древней словесности, и после долгого труда и прений составлена была длинная программа торжества, заключающего в себе народную процессию, игры и так далее. Заготовлены были изящные костюмы древних времен, светильники, колесницы, оружие, жертвенники и курильницы,— одним словом, все принадлежности древней греческой жизни, до малейших подробностей. Из поселян и приезжих любителей выбраны были старики, юноши, женщины и дети, отличавшиеся красотой, которая еще не утратилась в нынешней Греции. Гимны Каллимаха¹ и других поэтов положены были на музыку, оркестр состоял из тетрахорд², теорб³ и флейт. Многосложная археологическая задача решена была с помощью огромных пожертвований, и в назначенный день открылось празднество, начавшееся шествием к древнему храму и окончившееся плясками и гомерическим ужином. Этот день, важный для ученого, был не менее блистательным и для художника. То же солнце, которое сияло над истмийскими играми⁴, озаряло восторг наших поклонников древности; в виду их плескалось то же море, по которому ходили корабли Фемистокла⁵; на горизонте виднелись те же лиловые горы, на которых покоились глаза Пиндара⁶ и Сократа.

Но могло ли подобное празднество дать непосвященному человеку полное понятие об очаровательном быте древней Греции? Ни в каком случае не могло: в торжестве, затеянном поклонниками отжившего мира, не было элементов прежней жизни; в нем был восторг, было удивление, было пламенное поклонение искусству, была скорбь о времени славы,— но не было того детского, простодушного элемента, который так ослепительно сиял в древней Греции. И до того элемента не добраться более современному человеку, несмотря ни на его усилия, ни на его горячие порывы к эллинскому миру. Первая любовь со своими сладкими, юношескими помыслами не приходит два раза; можно целый год просидеть в кружку грациозных и резвых детей, но время детства все-таки не воротится.

Тем не менее сознательное влечение к древнему миру, восторженная симпатия к его остаткам, понятно и трогательно. Оно обильно своего рода поэзией,— не той поэзией, которая ключом кипит в сердце осьмнадцатилетнего юноши, но тою, которая теплится ровным пламенем в груди человека, изведавшего жизнь с ее горем и радостью. По временам по-

¹ Каллимах (310-240 до н.э.) – древнегреческий поэт, представитель «александрийской школы», создатель нового тогда жанра – поэзии малых форм.

² Тетрахорды – четырехструнный музыкальный инструмент.

³ Теорба – струнный щипковый инструмент, басовая разновидность лютни.

⁴ Истмийские игры – общегреческие празднества в честь бога Посейдона, на которых проводились гимнастические, поэтические и музыкальные состязания.

⁵ Фемистокл (ок. 525-ок. 460 до н.э.) – афинский государственный деятель и полководец, создатель военного флота.

⁶ Пиндар (ок. 518-442 до н.э.) - древнегреческий поэт, автор торжественных лирических стихотворений, предназначенных для хора. Многие произведения Пиндара служили для поэтов-классицистов образцами высокого одического стиля.

эзия подобного рода достигает истинного величия и хранит в себе резкую самостоятельность. Скажем более: без этой-то самостоятельности все произведения словесности, внушенные сочувствием к древнему миру и древнему искусству, носят в себе характер слабости, подражательности, неестественности.

Признаемся откровенно, что, перечитывая почти всех антологических поэтов, появившихся в начале прошлого и в нынешнем столетии, мы невольно помышляем о том празднике в честь древней Греции, про который мы сейчас говорили. Есть нечто чужое, холодное, безжизненное в этих подражаниях эллинской словесности, под которыми, однако, значатся имена первых писателей нашего времени. Кроме того, если подобного рода произведение и действительно пробуждает в нас иногда сладкое чувство, то мы как будто боимся ему довериться: нам кажется, что оно возбуждено собственными нашими воспоминаниями; мы очень хорошо знаем, что человеку с эстетическим вкусом довольно вспомнить одни имена Греции, богов Олимпа, чтобы в его душе зашевелилось вечно свежее и вечно милое ощущение. И чем длиннее произведение, возбужденное подражанием древним, тем более в нем сухости и безжизненности. Сам Гете, так превосходно копировавший поэтов антологии, подарил нас двумя скучнейшими вещами: «Ахиллеидою» и «Ифигениею». Что касается до большинства русских поэтов, то можно сказать утвердительно, что наше поверхностное знакомство с греческою словесностью привело нас к подражанию незавидному. Читая антологические стихотворения Пушкина, так и чувствуешь, невзирая на их прелесть, что поэт немного извлечет из этой богатой жилы для художника⁷. Привязанность вообще всех поэтов к подражаниям такого рода объясняется весьма легко: издавна воображению самых самостоятельных деятелей в словесности льстила та область фантазии, где все так тихо, простодушно и светло, куда не проникнули ни наши утонченные страсти, ни треволения современных умов; умеренность красок, рельефность очертаний, простота и несложность идей,— все эти достоинства, к которым приучало их изучение древней словесности, казались им крайним пределом совершенства. От безотчетного удивления один только шаг к рабскому подражанию, а рабское подражание прямо ведет к новому недостатку, а именно к слишком близоручному, так сказать, одностороннему взгляду на вещи. Большая часть поэтов, копируя древних художников, пришли к узкому понятию о значении самого древнего искусства.

Они не хотели посмотреть на предмет с более важной точки зрения: гонясь за буквою, они опустили из вида дух древнего искусства и таким образом оттолкнули от себя всякую попытку на самостоятельность в произведениях, навеянных им древнею жизнью. Они не сумели извлечь всей пользы из той истины, что греческий мир заключал в себе семена развития, общего всему человечеству. Все частное, временное, случайное умерло в Греции, истинное и общечеловеческое передано нам и живет у нас или под другими формами, или в дальнейшем развитии. Поклонение красоте, глубокое сознание успокоительной силы природы, простодушное проявление страстей, наука наслаждаться жизнью и тысяча других идей высказывались в эллинской жизни иногда с полной ясностью, иногда смутно, иногда бессознательно. Уразумев эти истины, проследив все идеи, намеки, заключающиеся в дошедших до нас памятниках, всякий поэт увидит, что его собственная роль, его воззрение на древний мир изменились значительно. Он уже не бессилен, не ничтожен перед красотами древнего мира, он уже не раб буквы древних писателей, он уже не жалкий копиист, уныло сидящий перед превосходною картиною: он скорее похож на отличного историка, заваленного грудой материалов для его будущей книги. Он начинает понимать отдаленные, скрытые, невысказанные мысли отжившего народа и чувствует, что может передавать их современни-

⁷ В данном случае оценка Дружинина несправедлива. Пушкин многое сумел «извлечь из этой богатой жилы» - достаточно вспомнить «Сафо», «Антологические эпиграммы», «Из Ксенофана Колофонского... Как это было присуще Пушкину, его стихи не только воспроизводят предметно-тематическое содержание, образный строй античной лирики, но оживляют сам дух древнегреческой поэзии, античное воззрение на жизнь.

кам в стройном и целом издании. Он не грек, да и не тянется к невозможному достижению древних мелочей; но он и не просто современный человек: он поэт, которого дарование широко раскинулось под влиянием древних образцов; он уже не копирует древней антологии; он чувствует, что может подняться выше; он не подражает одним только оборотам Анакреона⁸ и Феокрита⁹: он живет их мыслью, дополняя ее согласно своему разуму, своему сердцу, сообразно своему пониманию древнего и нового мира. Такой поэт не может не любить древнего искусства с горячею симпатиею; его мотив эти вдохновенные слова Шиллера:

Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder
Hoides Blüthenalter der Natur!
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur!¹⁰

Но, повторяя этот голос души при созерцании отжившей прелести, он, как человек своего времени, выискивает в древней словесности идеи и образы как можно, более близкие к нашей жизни и на них останавливается со страстью. Его творений никто не смешивает с трудами Пиндара и Софокла¹¹ но дело в том, что если бы Софокл и Пиндар проживали в наше время, то писали бы по его способу.

То, что сказано нами о большинстве современных поэтов, увлеченных рабским подражанием древней словесности, не может вполне относиться к лучшим из них. Возвышенные умы, подобные Гете и Шиллеру, не могли не постигать, какой могучий поток поэзии заключался в слиянии древнего элемента с современною жизнью; но оба поэта Германии не ограничивали своей деятельности одним воссозданием древних идеалов; произведения, навеянные им созерцанием эллинского мира, не были их исключительною специальностью: то были этюды, совершенные с любовью, только одна часть их многосложных трудов, одна сторона их поэтических привязанностей; оттого ни тот, ни другой не могли обратить на них всего своего внимания. Со всем тем они много сделали по этой части, в особенности Гете, которому суждено было испытать все роды деятельности, переходить от ложного к высокому, от плохого к художественному, от второй части «Фауста» к «Коринфской невесте», от «Доротеи» к «Миньоне». В том, что Гете глубоко понимал древнюю жизнь и мог быть самостоятельным в ее изображении, может служить доказательством его «Прометей» и другие превосходные стихотворения. Каким же образом рядом с этими вещами создались «Ахилленда» и рабские подражания антологии, принадлежит к одной из тайн этого олимпийского сфинкса.

Нам кажется, что самостоятельности Гете вредила во многих его произведениях из древней жизни излишняя бесстрастность поэта: Шиллеру же, напротив того, служила препятствием чересчур симпатическая, чересчур горячая его душа. Начиная спокойною картиною, Шиллер очень часто кончал восторженным дифирамбом; но со всем тем это смешение родов составляло одну из прелестей его поэзии. В книжке, находящейся перед нами, мы не раз встретим ту же манеру, страстную и неподготовленную; она и здесь хороша, потому что тоже основана на безыскусственной, душевной симпатии к гению древней Эллады.

Есть еще один блистательный поэт, уступающий двум названным нами художникам в силе дарования и многосторонности направления, но в произведениях которого с необык-

⁸ Анакреон (ок. 570-478 до н.э.) – древнегреческий поэт, воспевавший чувственную любовь, земные радости, беспечную жизнь на лоне природы.

⁹ Феокрит (конец IV-перв. пол. III в. до н.э.) – древнегреческий поэт, создатель жанра идиллий – сцен из жизни пастухов и поселян, чьи образы часто носили условный характер.

¹⁰ «Где ты, светлый мир? Вернись милый миг расцвета жизни! Увы, только в волшебном царстве песни живет еще твой чудесный след!» Строки из стихотворения Ф. Шиллера «Боги Греции».

¹¹ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) – древнегреческий драматург, создавший трагедии «Антигона», «Эдип-царь», «Электра» и др.

новенно прелестью выказываются идеи, зародыш которых почерпнут из древнего мира, — поэт, с необычайной удачей сливший в своих созданиях поэзию греческой жизни с поэзией современной и вследствие такого слияния завоевавший себе почетную самостоятельность. Мы говорим об Андрее Шенье¹² — писателе, родившемся во Франции, нанесшем сильный удар псевдоклассической словесности своей родины, — той самой словесности, которая от рабского подражания древним правилам дошла до совершенных противоречий с правилами древнего и нового искусства, и умершем в цвете лет, в полном блеске силы и таланта. Чтобы быть совершенно справедливым, следует еще упомянуть о неизвестном у нас британском поэте Китсе¹³, современнике Байрона, отличавшемся замечательным сочувствием к древнему миру и самостоятельностью в произведениях, внушенных этим миром. Читатель не любит сухих умозаключений и совершенно прав в этом случае. Проследив за нашим разделением поэтов-подражателей древности на два резкие отдела: поэтов рабски подражательных и поэтов самостоятельных в самом подражании, он вправе просить нас, чтоб мы привели тут же пример таких самостоятельных подражаний, показали ему, каким образом даровитые люди досказывают мысли древних и сообщают им особенную, современную прелесть. На этот случай мы готовы и примеров искать долго не будем.

Всякому известно, что древние греки не любили умирать: их понятия не были осквернены идеями христианства и земная жизнь казалась им высшим благом. Герои «Илиады» смело шли на бой: но, умирая под копьем врага, они тосковали, и «душа их тихо вылетала из тела, плача о юности и сладкой жизни». Женщины Софокла и Еврипида¹⁴ умирали не со стоическим хладнокровием, не с сладкими надеждами, а со слезами о жизни; они рыдали, покидая земные привязанности. Положим, что поэту задана тема такого рода: сетования юной женщины, которой грозит гибель. Изложение должно быть в древнем вкусе. Что сделает с подобною задачею поэт чисто подражательный, поэт антологический, один из тех поэтов, которых мы так много видели в последнее время. Он припомнит плач Андромахи¹⁵, трогательные вопли софокловой Антигоны¹⁶, простодушно сокрушающейся о том, что у ней не будет своего дома, что она не взрастит в нем детей, — приищет еще сотню примеров и, собирая в одном месте первую черту, в другом вторую и третью, создаст подражание, сколок с древних поэтов, — этюд, может быть, замечательный. И не следует воображать, чтобы подобный труд был легок: нет! для него потребно много художественной способности, много познаний, теплоты душевной, вкуса и умения владеть языком. И несмотря на то в подобном произведении будет весьма мало самостоятельного. В последние дни своей жизни один из поэтов, о которых мы только что говорили, именно Андрей Шенье, имел случай вдохновиться совершенно тою же идеею. Эта история необыкновенно трогательна. В Сен-Лазарской темнице, где безвинно содержался поэт и откуда вышел он только для того, чтоб сложить свою голову на эшафоте, находилась в одно время с ним аристократическая девушка, едва вышедшая из детства, именно девица де-Куальи. Судьба юной красавицы была не совсем блистательна: смерть должна была подойти к ней в скором времени; каждый день кровавый трибунал мог извлечь ее из заточения и послать на гибель. Вид этого невинного существа, возбуждив симпатию поэта, внушил ему стихи, едва ли не самые прелестные во всей французской словесности. Шенье был пропитан древнею словесностью, а потому исходная идея его стихотворения и подробности его были чисто греческие.

Вот бедный перевод этого превосходного стихотворения. «Колос, только что зазеленевший, зреет на поле и не страшится серпа, не опасаясь тисков, виноградная кисть впивает себя сладкое дыхание Авроры: я также молода и прекрасна, и хотя настоящий

¹² Шенье Андре Мари (1762-1794) – французский поэт и публицист.

¹³ Китс Джон (1795-1821) – английский поэт.

¹⁴ Еврипид (ок.480-406 до н.э.) – древнегреческий драматург, создатель трагедий «Медия», «Вакханки», «Андромаха» и др.

¹⁵ Андромаха – жена Гектора, героя Троянской войны.

¹⁶ Антигона – дочь царя Эдипа, заживо замурованная в гробницу и покончившая с собой.

час страшен и грустен,— я еще не хочу умирать.

Пусть бесчувственный стоик радостно встречает смерть,— я хочу только плакать и надеяться, при мрачном порыве северного ветра склонять голову и вновь поднимать ее. В жизни не все одна горечь — разве есть мед, после которого не чувствуешь отвращения? Разве есть моря без бурь?

Светлые мечты роятся в моей груди: напрасно тяготеют надо мною стены темницы, надежды мои имеют крылья. Так Филомела¹⁷, вырвавшись из силков жестокого птицелова, живет, веселее прежнего взвивается под облака.

Мне ли умирать, я засыпаю спокойно, и день мой проходит тихо: я не знаю угрызений совести. Даже в этой грустной обители все смотрят на меня ласково; при моем появлении что-то вроде радости видится на лицах унылых узников.

Мой прекрасный путь не может так кончиться: я только что начала его... я едва миновала первые деревья по краям дороги. На только что начатом пиру жизни я только что успела взяться за чашу, и она еще так полна в моих руках!

Я видела одну весну: мне хочется видеть дань жатвы; солнце совершает свой год, переходя от лета к зиме, и я того же желаю себе. Только что распустившись на своем стебле и начавши радовать весь сад, я хочу дождаться до вечера: меня грели только утренние лучи солнца.

О, смерть! удались же, удались от меня, ступай утешать сердца, изглоданные страхом, стыдом и отчаянием. Для меня богиня природы хранит свои тенистые убежища, для меня живет любовь с ее поцелуями, музы с их вдохновенными песнями. Мне еще рано... я не хочу умирать».

Кто из людей, читавших греческих писателей, не сознается в том, что и основная идея и манера «Молодой узницы» Шенье служат некоторым образом продолжением идеи Софокловой «Антигоны», манеры Феокритовых идиллий. Юное и невинное существо, поставленное лицом к лицу с ожиданием смерти, воспето поэтом, глубоко изучившим и дух и букву древней словесности. А со всем тем сколько в этой вещи самостоятельности, жизни, мыслей, общих всем векам и народам! В особенности наивное, невыразимое прекрасное обращение бедной девушки, в котором она просит смерть отойти от нее и убираться к другим людям, полно такого грациозного эгоизма, так ново и со всем тем так истинно, что может равно примениться и к чувствам древней и к понятиям современной женщины. Но довольно об Андрее Шенье. Пора обратиться к книжечке русских стихотворений, изданных в Одессе, в 1850 году.

«Греческие стихотворения» г. Щербины с первого разу предупредили нас в свою пользу. Мы очень хорошо знаем, что стихов в антологическом роде невозможно писать сплеча, и признаемся, что мы более всего боимся этого последнего рода стихотворений. Даже кажется нам, что единственная причина обилия плохих стихов заключается в том, что большинство поэтов очень любит знаменитый стих Гете:

*Ich singe wie der Vogel singt!*¹⁸

то есть что они поют очень шибко и, на первых порах оставаясь довольны своими песнями, поспешают предавать их тиснению. Во-вторых, нам легко было убедиться, что г. Щербина почти разделяет наши собственные мысли касательно подражаний древним, то есть почитает необходимою следить не столько за буквой, как за мыслью греческой словесности. Эта мысль, если не ошибаемся, выражена самим автором в конце книги. В-третьих, стих везде гладок, звучен и правилен. В-четвертых, книжечка красива и тонка; впрочем, это было только первое впечатление; прочитав ее со вниманием, мы от души пожалели о том, что она не толще.

¹⁷ Филомела – персонаж античных мифов. В иносказательном поэтическом языке Филомела – соловей.

¹⁸ «Я пою, как поет птица!» Строка из баллады Гете «Певец».

Одним словом, «Греческие стихотворения» г. Щербины нам чрезвычайно понравились, и мы спешим поделиться нашим удовольствием с читателями.

В коротком послесловии, приложенном к стихотворениям г. Щербины, автор излагает несколько мыслей о значении древнего искусства и говорит о причине, по которой назвал он свою книжку «Греческими стихотворениями»: «Читатель может подумать — так выражается поэт — что книга состоит из переводов; но в ней переводных стихотворений только два: Из *Анакреона* и *Бакхилида*¹⁹, — затем меньшая половина остальных чисто антологические пьесы. Что же касается до большей половины книжки, то стихотворения, в ней заключающиеся, принадлежат не к антологическим, но собственно греческим .стихотворениям, навеянными автору, некоторым образом, знакомством его с эллинской жизнью, наукою, искусством и *внушенные ему симпатией ко всему греческому*. То, что не явилось или, может быть, не дошло до нас в греческой лирике и чуждо антологии, *но что местами мелькает в драме, философских и исторических сочинениях, образе жизни, характере и убеждениях греков, то иногда брал автор за тему своего стихотворения, — словом, мысли и чувства, которые может внушить греческий мир человеку нашего времени, служат основой большей части пьес в книге*».

Последними строками автор сам разъясняет перед нами свое направление, и мы должны признаться, что этот-то последний разряд стихотворений удался г. Щербине несравненно более его переводов и антологических стихотворений. В слиянии древнего элемента с симпатией современного человека и заключается поле для таланта г. Щербины; разрабатывая этот богатый рудник, он сразу завоевал себе некоторую самостоятельность и обратил на себя внимание всех людей, любящих поэзию, сочувствующих и древнему и новому искусству.

Тридцать шесть стихотворений, составляющих содержание изящной книжечки г. Щербины, мы, сообразно его собственному указанию, разделим на три разряда: стихотворения переводные, стихотворения антологические и стихотворения самостоятельные, хотя и внушенные греческою жизнью. Мы уже сказали, что переводных пьес только две. Автор сам произнес суд над нами, сказавши в особенном прибавлении, что «никакой перевод не в состоянии передать красот греческого подлинника». «Новые языки — прибавляет он — совершенно иначе организованы, чем язык греческий, и стопосложение их несколько не похоже на стопосложение древних». Переводчик, который так скоро кладет оружие и так легко сознается в своем бессилии, не в состоянии потратить много труда над небольшим оригинальным стихотворением, не способен к мелкой работе над каждым стихом,— словом, к работе, напоминающей собою занятия ювелира. А без такого труда переводы из древних невозможны. Мы вполне соглашаемся с автором, что наше стихосложение отлично от стихосложения греческого; но из этого не следует, чтоб у нас не было хороших переводов греческих писателей. Мы говорим не о русской словесности, которая действительно бедна подобными переводами; немецкий язык еще труднее нашего укладывается в стройный и плавный стих; его резкость не напоминает собою сладкозвучия «эллинской речи»; а между тем германская словесность может похвастаться блистательными переводами из древних. Вот как переводит г. Щербина тридцать четвертую оду Анакреона:

Зачем бежишь ты от меня,
Когда с тобой встречаюсь я,
И, в цвете жизненной весны,
Моей боишься седины...
Или, зачем не любишь ты
Живое пламя в старике...
Вглядись, как много красоты
В искусно сплетенном венке,

¹⁹ Бакхилид (Вакхилид) (V в. до н. э.) — древнегреческий поэт, писавший в жанре торжественной хоровой лирики.

Где возле пышных роз видна
Лилеи скромной белизна.

Эти стихи вялы, прозаичны и не имеют никакой картинности. В подлиннике, если не ошибаемся, нет последнего эпитета *скромной* (лилеи) — эпитета туманного и уничтожающего образность стиха. Мы бы не привели этой пьесы, если б не имели впереди десяти вещей истинно прекрасных; указываем же на это стихотворение с тем только, чтоб читатель сам убедился, как г. Щербина, которому тесно, когда он, скованный переводным трудом, идет шаг за шагом, умеет возвышаться, когда дана полная свобода его фантазии.

Уже в антологических стихотворениях более простора его таланту. В этих пьесах уже есть место страсти и сочувствию, уже к ним можно иногда примешивать современное воззрение на древнее искусство,— стало быть, поэту тут можно высказаться, и он начинает высказываться. Прежде всего мы приведем изящное, чисто греческое стихотворение «В деревне», которое кажется выхваченным из древней антологии.

Как-то привольней дышать мне под этим живительным небом,
Как-то мне лучше живется в тиши деревенской.
Гаснут мечты честолюбья, тревожные сны улетают;
Мыслей о будущем нет,— настоящим я полон.
*Будто младенец прильнул я к широкому лону природы,
С нею живу, ее тайным веленьям послушный:*
Музам я утро свое посвящаю, вставая с Авророй;
Знойного полдня часы провожу под наметом
Темнопрохладным платана; на лоне забывчивой неги
Сладко дремлю я, вкусивши здоровых и сытных
Блюд деревенских, облитых крепительной влагою Вакха.

В этом стихотворении все дышит древностью: поэт еще верен своим образцам и будто боится отклониться от них. Только в двух, подчеркнутых нами стихах:

*Будто младенец прильнул я к широкому лону природы,
нею живу, ее тайным веленьям послушный —*

уже слышится присутствие мысли более современной, сознательно развитой, и этот небольшой, поэтический анахронизм придает особенную прелесть, самостоятельность стихотворению. В нем дышит не один древний мир: в нем видна уже сама страстная натура поэта. Счастлив писатель, делающий подобные анахронизмы!

Вот еще два коротенькие стихотворения, в которых оба указанные нами элемента сливаются с редкою прелестью:

СВИДАНИЕ

Страстно просил я бессмертных богов олимпийских
Дать мне минуту, одну лишь минуту свиданья
С чудно-прекрасною смертною девой. Настало
Это мгновенье. Увидев ее, у бессмертных
Начал просить я, чтоб миг вожделенный свиданья
В вечном продлили они. Красоту моей милой
Я созерцал и, как Тантал, все жаждал и жаждал,
В очи ей глядя, лобзая, томяся и плача,
В очи глядеть ей, лобзая, и томиться, и плакать...

Миг

Чудный был вечер весенний. Уж солнце в волнах потонуло,
Искрились тихие волны, и запад в последнем сиянии
Медленно гаснул над ними, и Геспер²⁰ уж теплился ярко.
Робкой стопой среброногая дева Селена²¹ из тучки
В темно-лазурное поле небес выходила.
Все было тихо, прохладно, темно и прозрачно под небом,
Небо с землей и с душой человека дышало одною
Сладкой гармонией, будто бы звучною грудью одною...
Счастливы мы, что живем, что родились, друзья-человеки!..
Горе нежившим и горе отжившим!

Мы не будем долго распространяться ни о первом, ни о втором из них: человек с поэтическим тактом сам поймет, что в каждом из них древнего и что именно современно и останется всегда верным и понятным. Но нельзя не заметить, что в них обоих, особенно в последнем, поэт уже смелее выступил из обычной границы антологического стихотворения. Так в пьесе *Миг* г. Щербина обнял светлым, философским взглядом целостность картины и заключил ее мыслью, которую понимали, но не вполне высказывали древние наши учителя:

Счастливы мы, что живем, что родились, друзья-человеки!
Горе нежившим и горе отжившим!

Страстное, сознательное преклонение перед чудесами природы, понимание жизненных благ и наслаждение жизнью,— все эти чувства, выраженные в приведенных нами двух стихах, сообщают пьесе лирический характер, делают это антологическое стихотворение гимном, высоким по содержанию, удачным по выполнению. Говоря о поэзии, природе, счастье,— обо всех этих предметах, полупонятных сухим и охлажденным сердцам, нельзя уберечься от так называемых тонкостей, над которыми многие так основательно смеются в наше время. Но мы не боимся тонкостей и скажем еще несколько слов о последней пьесе. Она навеяна древним миром; но горячее чувство, которым она проникнута, придает ей достоинство другого рода, более к нам близкое. Бесспорно, греки любили природу и понимали ее, в их поэтах нетрудно отыскать гимны подобного рода, не один грек думал о том, что он счастлив, потому что живет; но все эти чувства проявлялись в сыне Эллады почти бессознательно, как проявляются они в дитяти, играющем на солнце, в птице, поющей среди только что распускающейся зелени. В их поклонении природе слышится резвый голос простодушного дитяти; в нашем гимне звучит отчаянный вздох человека, отшатнувшегося от мучительных бурь света и с восторгом простирающего усталые руки к вечно юной богине.

Это самое чувство измученного смертного передано г. Щербиною в другом его стихотворении, которое не относится к разряду антологических,— стихотворении, немного неопределенном по содержанию, но принадлежащем к одному из лучших в книжке,— стихотворении, в котором картинность и музыка стиха достойны наших лучших поэтов. Оно называется «Герой». Нельзя определить, что хотел выразить автор этим названием; но его загадочность не портит дела: тут открывается несколько путей собственной фантазии читателя. «Герой», воспетый здесь, представляется читателю одним из великих афинян, спасших свое отечество, прославивших его ценою общественного своего спокойствия, изведавших злобу и неблагодарность своих соотечественников и, наконец, удалившихся в изгнание, сладкое уже потому, что в нем они отрешались от всех забот бурной жизни. Пусть то будет Фемистокл, Аристид²² или Алкивиад²³ — все равно.

²⁰ Геспер — одно из названий планеты Венера как вечерней звезды.

²¹ Селена — луна.

²² Аристид (ок. 5400 ок. 467 до н.э.) — афинский политический и военный деятель.

Но мы еще не кончили с антологическими стихотворениями. Вот еще одно из них, которым начинается книжка:

КУПАНЬЕ

Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной;
Струйка воды их с любовью собой обвивала,
Тихо шипела и брызгала пеной воздушной...
Кто б любовался красавицей этой порою,
Как над потоком она будто лотос склонилась,
Змейкою стан изогнула и белой ногою
Стала на черный обрывистый камень и мылась,
Грудь наклонивши над зыбью зеркальной потока,
Кто б посмотрел на нее, облитую лучами,
Или увидел, как страстно, привольно, широко
Прядали волны на грудь ей толпами
И, как о мрамор кристалл, разбивались, бледнея:
Тот пожелал бы, клянусь я, чтоб в это мгновенье
В мрамор она превратилась как мать Ниобея²⁴,
Вечно б здесь мылась грядущим векам в наслажденье.

По обыкновению автора пьеса заключается мыслью, составляющею как бы результат всей картины. Поэт желает, чтоб купающаяся красавица превратилась в мрамор для наслаждения будущим поколениям. Идея грациозна и ловко выражена, но может показаться несколько изысканною; говорим это потому, что на днях один из наших приятелей, отдавая полную справедливость таланту г. Щербины, заметил, что окончание *Купанья* «отзывается манерностью» и потому очень отклоняется от древних образцов. Смеем уверить почтенного критика, что, во-первых, особенность нашего поэта состоит в независимости от древних форм и, во-вторых, что некоторая изысканность мысли не была чужда грекам, в деле грации допуская некоторую утонченность. Катулл²⁵, самый греческий из латинских писателей,— поэт, которого песни читались в Греции и Александрии, говорит о покинутой Ариадне²⁶, в минуту отчаяния сделавшейся «похожей на мраморную статую вакханки». Это сравнение, несколько сродное заключительным стихам вышеприведенного стихотворения, не только не признается манерным, но даже служит темою для восторженных разглагольствований по поводу латинской поэзии...

Из остальных стихотворений в том же роде мы можем указать на *Стыдливость*, *Тучу*, *Уединение*, *Просьбу художника*, как на более удачные; к не удавшимся отнесем следующие: «Мир и человек», «Стих», «Незнакомка» и некоторые другие. Слабость этих последних пьес заключается иногда в неясности мысли, иногда в неловкости и прозаичности стиха, иногда в туманности и запутанности изложения. Недостатки таланта г. Щербины всего резче выказываются в одном стихотворении, с которого мы и начнем обзор третьего разряда его трудов.

СТАТУЕ ЕЛЕНЫ

Стою как раб пред дивным изваяньем,
Проникнутый немим очарованьем;
Едва дыша, взираю на черты
Возвышенной античной красоты.

²³ Алкивиад (ок.450-404 до н.э.) - афинский политический и военный деятель.

²⁴ Ниобея – героиня греческого мифа, потрясенная гибелью своих детей, превратилась в скалу.

²⁵ Катулл Гай Валерий (87 или 84-после54 до н.э.) – римский поэт.

²⁶ Ариадна – героиня греческого мифа о Тесее.

Скажите мне, кто дерзкий тот художник,
Что божество с Олимпа к нам низвел,
Которому вселенная — треножник
блеск небес — достойный ореол.
Не тук тельцов, не светлый тук елея
Обычный дар на алтаре твоём,
Но человек, восторгом пламенея,
Блаженствуя, приносится на нем...
Какой Парос²⁷ твой мрамор возлелеял?
Кто Прометей, воздвигнувший твой лик,
Чтобы на все он жизнь повеял,
Чтобы во все магически проник?
Какая мысль чело его палила,
Как на тебя резец он свой вознес,
И как она его не сокрушила,
И над тобой он сколько пролил слез?..
*Но долу ты свои склонила очи...
Не подымай, молю, их на меня!—
Под ними все сокрылись тайны ночи
И весь огонь тропического дня.
них блещет все прекрасное природы,
В них мир души с природою слиян,
В них озера недвижимые воды
И бурею изрытый океан...*
Стою как раб пред дивным изваяньем,
Проникнутый немим очарованьем;
Едва дыша, взираю на черты
Возвышенной античной красоты.

Начало пьесы прекрасно, стих тверд и изящен. Четыре строки, начиная от стиха

Какая мысль чело его палила,

возвышаются до истинного лиризма; восторг, в них высказанный, переходит к внимательному читателю; но тут и кончается достоинство гимна; начиная с первой подчеркнутой строки до конца, он весь состоит из промахов и фальшивого пафоса. Неопределенность мысли, довольно обычная нашему поэту, отсутствие твердо обдуманых выражений приводят его к смешному восторгу: он умоляет мраморную статую не поднимать на него своих глаз! Глаза — последнее дело в изваянии, и какой поклонник искусства этого не знает, точно так же, как и того, что не только в мраморных, даже и в живых глазах никогда не блещет *весь огонь тропического дня*. Что же касается до *недвижимых вод озера и до бурею изрытого океана*, которые опять-таки видятся поэту в тех же глазах Елены, то нам даже досадно говорить о таких выражениях. Пусть г. Щербина, обладающий несомненным дарованием, оставит подобные фразы на долю поэтам, которым предстоит один только путь к известности: именно эксцентрические усилия в деле ломания языка и вымысла невозможных фантазий. Пусть стихотворцы такого разряда в своих строках *припекают завитые локоны поцелуем*, пусть глаза их милой *сияют как бешеный фосфор*; им предоставляется идти по той же дороге, по которой, с довольно заслуженным успехом, шли Виктор Гюго и компания; но человеку, страстно любящему древнее искусство, воспитанному на Феокрите и Софокле,

²⁷ Парос – остров в Эгейском море недалеко от Греции, известен прекрасным мрамором.

нечего увлекаться риторическими фокус-покусами.

Нам очень приятно сказать, что означенные нами восемь строк о глазах статуи Елены самые худшие во всей книге. Сказавши это, мы уже с чистым сердцем переходим к тем из стихотворений г. Щербины, которые вполне достойны названия прекрасных.

Вот одно из них — изящное, спокойное, безукоризненное в литературном отношении стихотворение, которого невозможно читать без сладкого чувства. Оно составляет переход от произведений антологических к произведениям чисто самостоятельным. Первая его строфа дышит необыкновенною прелестью и картинностью, выше которой невозможно подняться; тут нет ни одной черты лишней, ни одного слова некстати.

Третья же и последняя заключает в себе мысль всего произведения,— мысль отрадную, хотя и грустную. Мы видим, что эта вещь принадлежит к любимым произведениям автора: его воображению льстят картины, изображающие зрелого и пострадавшего человека, стоящего лицом к лицу с тихою, вечно юною природою, задумчиво улыбающегося при виде детских невинных игр. Скажем, впрочем, что, по всей вероятности, читателю, имеющему мало сочувствия к умеренности и простоте древних поэтов, названная нами пьеса едва ли понравится.

ДЕТСКАЯ ИГРА

*Дети резвятся, бросая свой маленький диск по дороге;
Личики светлы у них и румяны, под туникой ножки
Живо бегут, и, колеблясь зефиром, по мраморной шейке
Черные кудри струятся; смеются уста их и глазки.
Рады они и хохочут в безумном весельи, малютки:
Весело им, что кузнечик у ножки они оборвали...
Прыгать с дороги в пшеницу уж больше не станет,
Дети себе рассуждают, смеются от чистого сердца.*

Чуждый товарищ, стоял я меж ними, и слезы смочили
Старые веки мои, и на сердце теплей становилось:
Детям завидовал я с умилением полным отрады;
Годы седые хотелось мне сбросить, и юностью милой
Снова зажить и беспечно резвиться, как прежде резвился.

Долго я грезил таким сновиденьем, когда ж пробудился,
Стали мне милы прожитые лета и дороги стали
Жизнью опыт стяжанный в светоч высокого знанья!
Гордо венец свой колючий на лоб обнаженный,
Крона²⁸ косою изрытый, опять я надвинул, и молча
В путь свой собрался... но — стыдно признаться — с печальною
думой.

Что же касается до нас, то, может быть, мы и ошибаемся, но нам кажется, что некоторые места из вышеприведенных строк принадлежат к тем редким, *сердцу понятным* особенностям, по которым познаются истинные мастера своего дела. Как мило и полно изображение маленьких детских ног, живо бегущих под короткою туникою! Как возвышенно признание старого путника, гордо надвигающего свой венец на морщинистый лоб и говорящего, что при виде неразумного детства

Стали мне милы прожитые лета и дороги стали
Жизнью опыт стяжанный в светоч высокого знанья!

²⁸ Крон (Кронос) – древнейшее греческое божество.

Теперь уже нам предстоит одна только похвала таланту нашего поэта, тем более что речь пойдет о том роде стихотворений, которые ему совершенно по средствам и где его самостоятельность может высказаться с полной отчетливостью. Мы говорим о тех пьесах, которые, не принадлежа к разряду чисто антологических произведений, навеяны поэту его знакомством с эллинскою жизнью и горячею симпатиею к древнему искусству. Изящным и вполне соответствовавшим вступлением к этому разряду стихотворений послужат следующие звучные, проникнутые страстью, стихи:

ЭЛЛАДА

Окружена широкими морями,
В тени олив покоится она,
Развалина, покрытая гробами,
В ничтожестве великая страна.

Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственном валов...
Горела грудь, в слезах кипели очи:
Я чувствовал присутствие богов...

И видел я усыпанный цветами,
Рельефами покрытый саркофаг:
В них грации поникли головами,
И Аполлон, и вечно юный Вакх;

А в гробе том красавица лежала
Нетленная, печальна, но ясна...
Казалось, она не умирала,
Казалось, бессмертной рождена...

И песнь ее носилась над могилой,
Когда уже замолкну ли уста;
И все вокруг собой животворила
Усопшая во гробе красота.

Выбравши содержанием своего гимна (так будет всего приличнее назвать это стихотворение) грустное, но сладкое чувство при виде усопшей Эллады, наш поэт, по всей вероятности, знал, что его стих пробудит воспоминание об импровизации другого поэта, на ту же тему, на несколько вдохновенных строк писателя, знаменитого своею славою и бурною жизнью. Вот эти строки — нужно ли говорить, чьи они и откуда взяты, если б читатель и не знал их автора, он догадается об его имени, по этому пламенному, отрывистому, блестящему началу:

He who hath bent him o'er the dead
Ere the first day of death is fled...²⁹

«Тот, кто наклонялся иногда над мертвецом, прежде нежели •прошел первый день его усыпления,— последний день бедам и страху (прежде нежели палец разрушения налег на черты, освещенные красотою), тот, кто ставал нагнувшись над телом и пожирал глазами последнюю прелесть, возвышенное спокойствие, сияющее на бледных щеках,

²⁹ Эти строки и нижеприведенный перевод взяты из поэмы Байрона «Гяур».

тот, верно, глядя на эти прекрасные, безмятежные черты, не раз отказывался верить, что над тою красотой, над тем спокойствием уже царствует злобная власть смерти. Таков вид того берега, той страны — это Греция, но уже безжизненная Греция!»

Так или почти так (мы сократили отрывок) выражается великий бард Великобритании: после его вдохновенных слов уже трудно было сказать что-либо новое, достойное величия усопшей Эллады. Не желая соперничать с поэтами, приносившими свою дань на могилу древней Греции, наш поэт попытался сыскать самостоятельность в простоте и, что еще важнее, в совершенно эллинской умеренности изображений. В «Элладе» г. Щербины есть четыре стиха, которые мы не можем произнести без сладкого чувства: в них, как в умной музыкальной оратории, есть нечто не подлежащее никакой критике, нечто до чрезвычайности тонкое и привлекательное. В самом деле, подумайте об этих строках, изображающих гробницу Эллады:

И видел я усыпанный цветами,
Рельефами покрытый саркофаг:
*В них грации поникли головами,
И Аполлон, и вечно юный Вакх...*

Умеренность (*sobriete*) в прилагательных здесь доходит до того, что Аполлону не придано ровно никакого эпитета, и от этого стих нимало не проигрывает. Как изящны грации, опустившие свои головы, и Вакх, вечно юный! Собственные наши воспоминания, собственные наши симпатии к древности, сливаясь с картинами поэта, с мелодией стиха, доставляют нам наслаждение — и поэт совершенно прав, и поэт остается победителем!

Со всем тем «Эллада» не может назваться безукоризненным стихотворением. В нем автор заплатил обычную дань своей манере неопределенно перескакивать от одной мысли к другой и вследствие того сделал промах, нарушающий гармонию целого. «Какая песнь носилась над могилой усопшей красавицы,— спросим мы с полным педантизмом,— разве она пела перед тем, чтобы лечь в свой саркофаг? И может ли песнь умершего существа носиться над его могилой?»

Может быть, автору «Греческих стихотворений» покажутся странными наши мелкие придирки, но мы утешаемся тою мыслью, что поэт, одаренный таким талантом и так живо сочувствующий искусству древнего мира, вполне понимает важность каждого слова в стихе, умеет отличить вред каждого неточного выражения в строгом и сжатом создании.

В том же, что наш автор умеет ценить идею красоты и даже прилепился всею душою к этой возвышенной идее, которую никакие бури не способны изгладить из души правильно развитого человека, уверяют и нас и читателей два истинно прекрасные стихотворения: «Невольная вера» и «Письмо».

В первом из них, к сожалению, очень слабы и неточны два стиха*, но зато семь стихов перед ними восхитительны в полном смысле слова. Второе далеко не так поразительно, но лучше выдержано. Вообще г. Щербина обладает редким дарованием сказать многое в коротких словах.

*И мою полусонную лень
Освежают росой анемоны...

Если силы наши соответствовали начатому нами труду, то мы успели уже достаточно познакомить читателя с талантом г. Щербины. Если б мы не боялись повредить успеху его книжки, перепечатав в своем журнале большую часть стихотворений, в ней заключающихся, мы бы поместили рядом с выписанными стихотворениями другие пьесы в том же роде, не менее прекрасные, как, например: *Ваятель и натурщица*, *Гермес при- вратник*, *Древняя колонна* (которая, за исключением последних шести строк, достойна назваться образцовым произведением), *Скрываемая страсть* и некоторые другие. Несмотря на

такое похищение, в тоненькой книжке «Греческих стихотворений» осталось бы все-таки довольно вещей истинно замечательных, а именно: *Тимон Афинский*, *Сказка*, *Туника и пояс*, *Жизнь и искусство*. Даже слабые пьесы: Афродите, Урании, Софокловой Антигоне читаются не без удовольствия. При составлении своей книжки автор руководился строгим вкусом и, по всей вероятности, под влиянием весьма понятного недоверия к своим силам, исключил из нее много вещей, которые бы могли составить репутацию поэта посредственного.

В первый раз прочитав книжечку «Греческих стихотворений», мы поражены были обилием прекрасных вещей в стихотворениях г. Щербины; но первое чувство удовольствия оказалось несколько смутным. При втором чтении мы признали автора истинным поэтом, при третьем мы с отрадою задумывались почти над каждою из пьес, им написанных. Еще через несколько времени как-то случилось, что мы запомнили каждое из этих стихотворений и вероятно долго его не забудем. Потому-то с нашей стороны не будет лишним один совет читателям: мы предупреждаем их, что талант г. Щербины не принадлежит к разряду талантов, ослепляющих с первого разу и равно доступных каждому; чтоб оценить вполне дарование нашего автора, нужно вчитываться в его произведения, призывая по временам на помощь свои собственные воспоминания о древнем искусстве и свой личный поэтический инстинкт.

Что касается до нас, то мы смело причисляем г. Щербину к числу замечательных русских поэтов и даем ему одно из первых мест между теми из них, которые еще пишут в наше время. Уступая некоторым из них в многосторонности, автор «Греческих стихотворений» далеко их превосходит своим познанием древней жизни и горячим, живым сочувствием к ее поэзии. Что у них носит печать одной начитанности и раздражения где-то захваченной мысли, у г. Щербины становится элементом понятным и существенным. Его легко можно упрекнуть в некоторой неопределенности выражений и мысли; но что вся эта неопределенность в сравнении с чрезвычайно шаткостью и туманностью фантазии во многих пьесах г. Фета, писателя с замечательным дарованием. Автор «Невольной веры» никогда не дойдет до такой степени причудливой слабости, чтоб обращаться с неогерманскими нежностями к героиням Шекспира³⁰ — к Офелии, Дездемоне и отпускать каждой из этих поэтических страдалиц целый запас фраз, не вяжущихся между собою. Поэт, сердцем понимающий Анакреона и Софокла, никогда не бросится в галлюцинации, которыми так богато наше поколение, вскормленное на скороспелой и дешевой эрудиции.

Г. Щербина — поэт замечательный; «мы много можем от него ожидать в будущем», — желательно было нам прибавить; но не лучше ли будет воздержаться от такой стереотипной фразы. Мы привыкли в критических статьях изъявлять надежды подобного рода, не думая о том, что редкому писателю они бывают приятны. Во-первых, надежда в будущем заставляет предполагать, что мы не совсем довольны настоящим, а мы протестуем против подобного предположения; половиною «Греческих стихотворений» мы довольны вполне, довольны окончательно. Во-вторых, мы не желаем стеснять поэта никакими ожиданиями; пусть он работает, когда того захочется, Аполлону, пусть он не стесняет себя временем и усиленным трудом; если, через несколько лет, издаст он десять томов вроде ныне изданной книжки, мы будем чрезвычайно довольны; ежели через десять лет он издаст только десять стихотворений, мы, может быть, в душе пожалеем о лени поэты, но примем его труд с благодарностью. Если б можно было с пользою подавать советы поэтам и литераторам, мы бы с своей стороны не отказались сказать слова два автору «Греческих стихотворений» и имеем слабость думать, что эти несколько слов не были б лишними. А впрочем, отчего ж и не изъявить готовность по части советов. Положим, что г. Щербина желает знать наше откровенное и, так сказать, частное мнение о его таланте вообще

³⁰К героине Шекспира Фет обращается, в частности, в стихотворении «Я болен, Офелия, милый мой друг!»

и о будущем этого таланта в особенности, в таком случае мы сказали б ему следующее:

Из сорока почти стихотворений, изданных г. Щербиною, некоторые написаны в 1843, другие в 1847, остальные в промежутки между этими двумя годами. Сам автор, выставляя число под каждою из пьес, облегчает наши хронологические соображения. Лучшие вещи написаны в 1846 и 1847 годах, но число их невелико. Это обстоятельство заставляет нас предполагать, что автор «Греческих стихотворений» пишет редко и, может быть, медленно. С другой стороны, все пьесы в книге весьма коротки, в общности их нет строго обдуманной последовательности, все материальные признаки показывают, что если г. Щербина бесспорно заслуживает название поэта талантливого, зато он очень далек от того, чтобы быть трудолюбивым поэтом. Мы не понимаем слова трудолюбивый в том бесцветном виде, как воображают себе многие; мы убеждены всем сердцем, что любовь к труду составляет одну из существенных сторон всякого замечательного писателя. Давно пора перестать нам глумиться над идеею умственного труда и превозносить выше меры беззаботную, ленивую деятельность; можно бы нам, кажется, помнить, что если праздная, вялая жизнь и порождает иногда хороших поэтов, зато величайшие из них, как, например, Гете, Данте, Шиллер, были трудолюбивейшими учеными до конца своей жизни. Грустное заблуждение наших светских людей и, что еще хуже, литераторов, по поводу важности науки и добросовестного труда в деле изящных произведений, заслуживает едкой сатиры, или трактата, или целой статьи серьезного содержания.

Итак, нам кажется, что талант г. Щербины может усовершенствоваться и ярко развиваться с помощью труда. Мы не хотим верить, чтоб поэт с его дарованием не нашел себе новых сюжетов и новой деятельности, чтоб он не был способен довести свой стих до высшей степени правильности, красоты и в особенности точности. Мы не знаем, составляет ли симпатия древнему миру самую сильную сторону в даровании нашего Автора, и не можем сказать, удадутся ли ему попытки в другом роде вдохновения, но можем уверить его с полным сознанием, что и этой стороны таланта довольно для деятельности всей жизни. Пусть г. Щербина подарит нас сотнею антологических стихотворений вроде «Мига» или двумястами таких прелестных гимнов, как «Невольная вера», он может быть уверен, что не мы заговорим об однообразии. Если поэт охладит к такому роду произведений, перед ним все-таки широкое поле деятельности: на русском языке нет ни одной поэмы из древней греческой жизни, и нет ее, как кажется нам, по весьма простой причине — по малой учености многих наших поэтов. Что-то нам говорит даже, что Лермонтов, написавши прелестный отрывок из поэмы, где говорит в начале о гонении христиан при «грознном Тиверии», остановился единственно потому, что его малая начитанность, поверхностно-энциклопедическое, светское образование положили неодолимую преграду полету его музыки. Стихотворения г. Щербины, его знакомство с греческою словесностью показывают нам, что ему нечего бояться, по-видимому, прозаической, но в сущности существенной преграды.

Но положим, что по той или другой причине поэма не будет удачна. Тогда автору останется еще труд, за который все русские читатели скажут ему истинную благодарность,— труд, для которого мало десяти людей, одаренных огромным талантом. Софокл и Еврипид, Пиндар и Феокрит, Сафо³¹ и Каллимах, Анакреон и поэты антологии у нас еще не переведены, или если переведены, то плохо и неверно. Латинские поэты, по направлению своему приближавшиеся к гениям древней Эллады, у нас почти неизвестны: ни Гораций³², ни Катулл, ни Тибулл³³ с Проперцием³⁴, ни

³¹ Сафо (перв. пол. VI в. до н.э.) — древнегреческая поэтесса.

³² Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65-8 до н.э.) — римский поэт.

³³ Тибулл Альбий (ок. 50-19 до н.э.) — римский поэт.

³⁴Проперций Секст (окон. 50-ок. 15 до н.э.) — римский поэт.

Виргилий³⁵ не приманивали еще собой русских поэтов. Наши поэты отчего-то любят с равнодушием проходить мимо оды Анакреона и эпиталамы³⁶ Катулла: они предпочитают останавливаться над самыми неудачными из песен Гейне или над скучнейшей балладой Уланда³⁷.

Но, скажет читатель, сам г. Щербина признается в своей книге, что «никакой перевод не в состоянии передать красот греческого подлинника». В этом позвольте нам усомниться и привести в свое оправдание ту мысль, что всякий язык имеет свои особенные красоты, и что все дело состоит в употреблении этих красот кстати. Переводчик, который бы стал ломать русский стих на греческий манер, конечно, не имел бы удачи в своем труде; но, соображаясь с духом отечественного языка, есть еще возможность снять верную копию. Что бы мы сказали о живописце, который, снимая масляными красками превосходную картину, писанную на стекле, стал класть на полотно те же яркие краски, которые он видит в своем оригинале. Для живописи пером, карандашом, красками, водяными и масляными, есть своя особенная манера, а между тем одна и та же головка может быть писана всеми этими способами.

В некоторых местах своих стихотворений г. Щербина возвышается до такой умеренности слов и образности выражений, которые дают чрезвычайно точную идею о манере древних. Возьмем, например, хоть эти строки из пьесы «Древняя колонна»:

Над теменем белым утеса
Горело вечернее солнце
И падало светом волшебным
На груды развалин, на море,

На дальние горы и рощи.
Вились над моею колонной
Прозрачно-лазурные тени,
И луч догоравший струился
По мраморным ребрам колонны...

Это полная картина, которой скорее недостает рамки, чем какого-нибудь дополнительного штриха. Тут нечего ни прибавить, ни убавить, и кто из людей со вкусом не скажет, что Феокритова идиллия, если б ее всю передать подобными стихами на русский язык, будет достойна подлинника!

Книжка «Греческих стихотворений» издана лучше всех Аловых петербургских книг: шрифт и украшения прекрасны, бумага замечательной белизны и плотности. Это издание нестыдно держать на столе в гостиной.

1850

³⁵ Виргилий (Вергилий) Марон Публий (70-19 до н.э.) – римский поэт.

³⁶ Эпиталама – стихотворение или песня в честь свадьбы.

³⁷ Уланд Людвиг (1787-1862) – немецкий поэт-романтик.